



Жизнь и необычайные приключения писателя Войновича

(рассказанные им самим)

Глава седьмая

Вопросы и ответы

Сердобольный начальник

Летом 42-го до Управленческого городка добрались, наконец, мама – из Ленинабада, а вскоре за ней и папа – из госпиталя.

Мама везла мне большую ананасную дыню (невиданную роскошь), длиной, наверное, с полметра. Но с половиной этой дыни пришлось по дороге расстаться. Управленческий городок был городок режимный. Там находился авиационный завод и что-то еще военное. Поэтому попасть туда нельзя было без особого разрешения или без взятки. Взятки охотно брал и разрешения с большой неохотой выдавал какой-то важный начальник. Мама пробилась к нему вместе с дыней. Не представляя себе, как она таскала такую тяжесть, а выпустить из рук не могла.

– Эту дыню, – сказала мама начальнику, – я через всю страну везла своему сыну. Возьмите ее себе. Начальник, как она рассказывала, ужасно смутился:

– Что ж, зверь, что ли, отнимать последнее у вашего сына?.. Но, – подумав, продолжил он, – у меня тоже есть сын, так что давайте поделим: половину вашему, половину моему... Или без взятки... Мама предпочла взятку.

«Папа, что ты делал на войне?»

После восьми месяцев лечения в госпитале папа приехал в том же виде, в каком вернулся из лагеря: солдатское х/б, телогрейка, стоптанные бутсы с обмотками. Но теперь над правым карманом гимнастерки у него была маленькая желтая полоска – знак тяжелого ранения. У него не было ни одного ордена, ни одной медали, потому что тогда ни того, ни другого солдатам отступающей армии не давали. Единственным свидетельством достойного участия в войне была эта желтая нашивка и большая пачка маминых писем, слипшихся от крови.

Теперь отец стал инвалидом. Левая рука была как бы пришта к боку, согнута в локте и не разгибалась, пальцы скрючены и тоже не разгибались.

Возвращение отца было для меня огромной радостью. Я радовался тому, что он вернулся, тому, что был на фронте, и тому, что был ранен. Причем ранен тяжело, с правом на ношение желтой нашивки, а не красной, которая была свидетельством ранения легкого.

Еще до приезда отца был у меня разговор с Галиной Сергеевной, той женщиной, на которую за плохие слова о Сталине сначала хотел донести, а потом с ней подружился. Она позвала меня пойти вместе с ней в лес за хворостом и по дороге спросила, откуда у меня такая фамилия. Я сказал, как слышал от тети Ани, что фамилия наша сербская.

– Ну вот, – удовлетворенно сказала Галина Сергеевна, – а я думала, что белорусская. Елена Дмитриевна говорит, что еврейская, а я ей говорю, что этого не может

быть. Твой отец на фронте, а был бы еврей, сидел бы дома.

– Почему?

– Потому что евреи не дураки. Это наши вани там головы кладут за родину, за Сталина, а евреи, люди проницательные, куют победу в тылу. Подобные разговоры я часто слышал, и они были мне неприятны. Они напоминали мне, что я тоже имею отношение к этой нехорошей нации, но какие у меня были основания не верить в нехорошесть ев-

ют, как все. Не лучше и не хуже других.

В другой раз я задал папе вопрос, который меня волновал не меньше: – Папа, а сколько ты убил немцев? Этот вопрос многие дети задавали своим отцам. И многие отцы с удовольствием на него отвечали. Мой дальний родственник, дядя Вова Стигореско, вернувшись домой в конце войны, весь увешанный орденами, весело рассказывал, как крошил немцев из пулемета и как

«Я не убил ни одного немца

и очень этим доволен», – сказал отец.

«А что же ты тогда там делал на войне?» – хотел спросить я. Но постеснялся и не спросил

реев? Раз люди так говорят, значит, наверное, так и есть. Возражать я не мог, потому что не знал никаких евреев, кроме мамы, бабушки и дедушки. Дедушка на фронте и правда не был, но имел на то уважительную причину: он умер за пять лет до войны. Поведав, что евреи не воюют, я пошел в рассуждениях дальше и решил, что все мужчины нестарого возраста, которых встречал я в нашем Управленческом городке, – евреи. Поэтому я радовался, что отец у меня не еврей, а настоящий фронтовик, пролил кровь и имеет право с гордостью носить свою желтую ленточку.

Отец почти ничего не рассказывал о войне. Лишь сначала я его пытался расспрашивать, но каждый раз попадал впросак.

Однажды спросил:

– Папа, а почему евреи не воюют?

Отец посмотрел на меня удивленно:

– А кто тебе это сказал?

Я пожал плечами:

– Все так говорят.

– Так, – сказал он, – говорят него-дья или глупые люди. Евреи вою-

забрасывал гранатами какие-то блиндажи. Но и до возвращения дяди Вовы подобных рассказов я слышал великое множество. И от отца желал услышать что-то подобное. Но папа вдруг ужасно рассердился. Еще хуже, чем на вопрос о евреях. А когда он сердился, у него появлялся такой сверлящий взгляд, который будто пронизывал меня до самого позвоночника.

Он просверлил меня этим взглядом и сказал:

– Я не убил ни одного немца и очень этим доволен.

«А что же ты тогда там делал на войне?» – хотел спросить я. Но постеснялся и не спросил.

Ведомый неведомой рукой

Моего отца судьба всю жизнь водила по краю пропасти. Отец был арестован, когда зверства НКВД еще не достигли кульминации, а осужден, когда в карательной системе наступило первое «потепление». Освобожден перед самой войной, но тут же ушел на фронт.

Будь на год старше, остался бы дома, но его угораздило родиться в 1905-м: этот год из призывных был последним.

Судьба и мне подавала столько знаков предначертанности моих действий, что я не могу не чувствовать себя ведомым неведомой рукой. Я некрещеный, необрезанный, неверующий, но не атеист.

Я никогда не был в обычном смысле слова верующим человеком, но и никогда (или почти никогда) не был неверующим. Точнее всего будет сказать, что я – незнающий.

Я не верю ни в какое конкретное представление о Боге, которое может быть выражено средствами литературы, живописи или скульптуры. Я не верю никаким доказательствам существования Бога и никаким доводам в пользу того, что его нет. Мир устроен слишком рационально, и трудно представить, что он устроился так сам по себе. И невозможно вообразить противное. Но в судьбу я не могу не верить. Я совершил в жизни несколько безрассудных поступков, которые мне судьба прощала, но при этом посылая предупреждения.

Одно из них я получил, когда мне было лет восемнадцать. Я работал в Запорожье на стройке плотником и в один из дней с наружной стороны только что построенного дома укреплял оконные рамы на втором этаже. С деревянной стремянкой на плече я переходил от окна к окну, вбивая между рамой и оконным проемом железные костыли. В одном месте на моем пути оказалась лебедка. Как раз в тот момент лебедка поднимала две тачки с раствором, стоявшие на квадратной деревянной платформе. Я хорошо знал, что под грузом находится нельзя, но решил испытать судьбу. Со стремянкой на плече я сделал лишний шаг – и тут же глыба раствора залепила мне плечи и шею. Трос лебедки все-таки оборвался. Случись это на секунду раньше, я был бы расплюснут как муха, прибитая мухобойкой...

Коверкотовый костюм

История с папиным коверкотовым костюмом чем-то напоминает мне рассказ Петруши Гринева о заячем тулупчике, подаренном им Пугачеву.

Будучи человеком исключительной скромности, отец мой стеснялся иметь что-нибудь такое, чего другие, по его мнению, не могли бы себе позволить. Впрочем, поводов для стеснения у него в жизни не было, если не считать единственного более или менее приличного коверкотового костюма.

Костюм этот был куплен еще до ареста по настоянию матери. Мать рассказывала, что, прежде чем выйти впервые в обновке из дому, отец долго мыл ее, затем катался в ней по полу, чтобы придать ей вид изрядной поношенности. Но костюм такое обращение выдержал и выгодно отличался от всех вещей, носимых отцом позднее. Несколько раз отец надевал его до посадки и пару раз в коротком промежутке между лагерем и фронтом. Когда ушел воевать, костюм остался у тети Ани и кочевал с нами из одной эвакуации в другую. Живя на хуторе, мы меняли вещи на еду, возникал вопрос и о костюме. Отец, считая себя ответственным за то, что навязал тети Аниной семье лишнего иждивенца – меня, в письмах с фронта настаивал на том, что костюм при нужде надо продать. Бабушка склонялась к тому же и показыва-

ла вещь заезжавшим на хутор калмыкам. Один, весьма упитанный, долго тряс в обеих руках и поднимал по очереди пиджак и брюки, как будто определяя их вес. Потом начал костюм примерять и непременно распорол бы по всем швам, но вовремя был остановлен тетей Аней.

– Нет, нет! – сказала она. – Это не продается.

– Зачем не продается? – спорил калмык. – Всякий вещь продается. Мой рубашка продается. Мой шапка продается. Мой корова продается, да, а твой тряпка не продается, да?

– Да, да, – сказала тетя. – Это не тряпка, это хороший костюм, он не продается. Тем более что он вам и не подходит.

– Подходит, – уверенно сказал калмык. – Моя хозяйка будет делать так, что подходит. Послушай, женщина, я тебе дам вот такого кабана. – Он развел руки, изображая толщину кабана. – Подумал, махнул рукой: – И гуся дам. – И другой рукой махнул: – Два гуся дам.

Но тетя не поддавалась, а на воздыхания бабушки реагировала сердито:

– Коля вернется, в чем будет ходить?

Поскольку тетя Аня была в нашей семье главнее бабушки, последнее слово осталось за ней, и костюм в фибровом чемодане вместе с нами поехал во вторую эвакуацию. И теперь хранился под нижними нарами.

На какой-то день после приезда отца тетя Аня объявила ему, что его ждет сюрприз. Ползла под нары за чемоданом и сразу обратила внимание на сломанный замок. Открыла чемодан, но костюма там не увидела. Перебрала все тряпки, надеясь на чудо: костюма не было.

– Как же так, – бормотала она, – как же так! Я только вчера смотрела, он был на месте, а теперь...

Тетя Аня была очень сдержанным человеком и редко плакала. В этот раз она зарыдала в голос.

По странному стечению обстоятельств дядя Костя как раз в тот день ездил в Куйбышев и там на толкучке увидел Галину Сергеевну, которая торговала коверкотовым пиджаком. Дядя Костя сначала ничего плохого не подумал, только заметил, что пиджак очень похож на пиджак брата жены. Но едва он подумал так, Галина Сергеевна странно засуетилась, свернула пиджак и попыталась скрыться. Тогда дядя Костя догадался, что дело нечисто, схватил ее за руку и потребовал объяснений. И заставил ее признать, что костюм она украла, брюки обменяла на буханку хлеба, а на пиджак покупателей пока не нашла. Дядя Костя отнял у нее и пиджак, и буханку.

Что было потом, я не помню. Наверное, случившееся стало для меня таким шоком, который вызывает провал в памяти. Поэтому я запомнил Галину Сергеевну такой, какой встретил ее у водоразборной колонки и такой, какая смотрела на меня странным женским взглядом, когда стирала. Запомнил я ее слова о Сталине и евреях, а что с ней потом случилось, после того, как ее поймали с поличным, совсем не помню.

И дальнейшую судьбу пиджака в памяти не удержал. Знаю только, что отец его не носил и носить не мог, потому что у него рука была как бы пришта к боку. Гимнастерку он как-то специально перекраивал, а с пиджаком вряд ли справился бы.

Продолжение следует